

**МАТЕРИАЛЫ РОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ
В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ»,
ТОМСК, 20–21 МАЯ 2011 г.**

УДК 165.0

Д.В. Анкин**ОТСУТСТВУЮЩАЯ МЕТАФОРА**

Рассматриваются относительность метафоры, отсутствие у неё какой-либо чисто лингвистической сущности. Обосновывается тезис, что метафора существует лишь на стыке семантики и прагматики, а при переходе в план семантики исчезает. Указанный тезис отстаивается на пути сравнения метафоры с фигурой иронии, которая имеет аналогичное «сумеречное» существование и без адекватной прагматики тут же исчезает. В качестве основы для собственной интерпретации метафоры используются некоторые идеи концепции Д. Дэвидсона.

Ключевые слова: метафора, ирония, прагматика, буквальное значение, Дэвидсон.

Взгляд на метафору как на средство передачи идей, пусть даже необычных, кажется мне столь же неверным, как и лежащая в основе этого идея о том, что метафора имеет особое значение.

Дональд Дэвидсон

О том, что метафора близка сходству и аналогии, писали многие исследователи, обращавшие внимание на аспект метафорического иносказания. Иносказание предполагает наличие по крайней мере двух значений. Однако чем эти значения отличаются? Являются ли эти значения элементами самого языка (а может языков?) или всего лишь формами языкового употребления (прагматики)? Мы намерены высказать ряд аргументов в пользу исключения метафоры из языка (семантики), но сохранения её существования в некоторых регулярных формах речи (прагматике).

Если согласиться с Дональдом Дэвидсоном [1], что на уровне семантики особого языкового метафорического значения не существует, то всё же можно выделить разновидности более узких и более широких значений на уровне прагматики, позволяющих, как нам кажется, достаточно успешно объяснять существование метафоры в качестве некоторой функции их взаимодействия.

Д. Дэвидсон отрицает существование особой «метафорической» истины (в противоположность Н. Гудмену [2]) и ложности, настаивая на обычной ложности высказывания, в которое метафора входит. Однако если мы говорим о прагматике, вопрос об истинности/ложности также далеко не столь ясен. Когда мы обращаем внимание лишь на узкое значение, то получаем (как правило) ложность пропозиции, конститuentой которой метафора выступает, но данная ложность всецело зависит от контекста соответствующего

высказывания, поэтому её нельзя толковать как необходимую ложность соответствующего высказывания.

Отрицая особое языковое значение метафорических выражений, не обязательно отрицать возможность изменения истинностного значения языковых форм, данные выражения включающих, – изменения истинностного значения пропозиции, в которую данная метафора включена. Для Дэвидсона же пропозиция, включающая метафорическое выражение, неизменно оказывается ложной. Многое, конечно, зависит от того, как мы намерены трактовать понятие пропозиции – если его исключить из языка, противопоставив понятию языкового высказывания, то вполне возможно позицию Дэвидсона развивать и отстаивать во всех её аспектах. Мы не будем углубляться в дискуссии вокруг понятия пропозиции и откажемся от столь резкого противопоставления пропозиции и предложения, полагая пропозицию всего лишь интерпретацией предложения некоторого языка, у Дэвидсона же попытаемся позаимствовать лишь самое, по нашему мнению, важное и интересное для рассматриваемой проблемы.

Для пояснения проблем, затронутых Дэвидсоном, обратимся к сравнению метафоры с фигурой иронии. Согласно стандартной, общепринятой трактовке иронии мы имеем некоторое переворачивание истинностных значений высказанной пропозиции, переворачивание истинности и ложности. Считается, что если слова ироника толкуются в «буквальном» смысле, то ироник оказывается обманщиком, человеком, утверждающим нечто заведомо ложное (и знающим при этом как дела обстоят на самом деле). Если же учитывается некое «небуквальное», дескать, значение, то ироник оказывается человеком чуть ли не вещающим истину (точнее, побуждающим своего собеседника к её обнаружению).

Представляется, что в традиционной трактовке иронии скрывается ошибка, аналогичная ошибке с «метафорической» истинностью и ложностью. Как и в случае метафоры, об иронии было бы неверно говорить, что она имеет какое-то особое, «ироническое» значение в рамках коммуникативного намерения говорящего. Тот, кто смеётся и обманывает, не является ироником в классическом смысле сократической иронии. У иронии нет никакого самостоятельного значения, и все многочисленные философские тексты о некоторой особой – либо по своему референциальному, либо по своему истинностному значению – природе иронии ничего, по нашему мнению, не стоят.

Объяснение данной ошибки видится нам в том, что речь должна идти не столько о референции (или истинности) слов ироника, сколько о его коммуникативном намерении. В русском языке (хотя для теории особенности некоторого естественного языка и не имеют большого значения) последнее очень удачно маркируется словами правда / неправда, в отличие от малоупотребляемой в естественном языке (но не в языке русскоязычных философов!) оппозиции истина / ложь.

Сократ, не ведающий иронии

Обратимся к истории интересующей нас и представляющейся ошибочной трактовки иронии. Генетически понятие иронии происходит от понятия корыстного обмана со стороны приbedняющихся неплательщиков налогов

Древней Греции. Вслед за тем понятие иронии трансформируется в понятие интеллектуального приёма, связанного с философией Сократа [3]. Становится общепризнанным полагать, что Сократ в некотором смысле подобен этим обманщикам, а именно – скрывает свои действительные интеллектуальные богатства от собеседника, прикидывается интеллектуально бедненьким и убогим, чтобы заморочить собеседнику голову или даже обидеть его (зловерден, «как морской скат», по словам софистов).

Однако всё же спросим: имел или не имел Сократ намерение обмануть своего собеседника (сказать что-то расходящееся с тем, что он думает на самом деле)? Нет сомнения, что собеседник обманывается в отношении коммуникативного намерения Сократа, но значит ли это, что Сократ его обманывает (намеренно вводит собеседника в соответствующее заблуждение)? Вовсе не обязательно. У слов Сократа может быть и более одного значения, аналогично тому, как у метафорического тропа мы выделяли более одного значения. Но более продуктивно понимать их буквально, как слова о чём-то новом, важном и интересном для собеседника (что последний, увы, не может понять).

Если у Сократа не было ни малейшего намеренного обмана, если он утверждал свои необычные для собеседников истины (парадоксальные, с точки зрения их исходных убеждений) открыто и буквально, откуда же тогда возникло представление, что ироник кого-то обманывает? Представляется, что традиционное представление об иронии порождено оппонентами Сократа. Дело в том, что отождествление парадоксальных истин с намеренным обманом оказалось полезно тем же софистам, так как дает возможность представить собственный обман – как только достигнуто его разоблачение – в качестве некой глубокой истины, имеющей форму парадокса.

В качестве примера обратимся к интерпретации слов Сократа, говорящего, что он «знает, что ничего не знает». Представляется, что Сократ вовсе не прибеднялся, заявляя, что он ничего не знает, что он на самом деле так и считал (вопреки всем его псевдопоследователям «ироникам», выдающим собственную ложь за некую более глубокую истину). В иронии Сократа нет никакого различия между тем, что говорится, и тем, что подразумевается (в отличие от его псевдопоследователей лжецов-«ироников»). Утверждение Сократа следует понимать буквально, именно в том смысле, что Сократ ничего не знает.

Здесь, по-видимому, у нас возникает некоторая неочевидная неувязка, ибо совсем ничего не знающий не способен знать и того, что он является ничего не знающим. Однако «ничего не знать» может иметь в языке не только тот смысл, чтобы совсем ничего не знать, но и некоторое расширительное значение, каковым в нашем случае будет относительный смысл – «ничего в сравнении с Богами» или же «ничтожно мало на фоне божественной Мудрости» и т.п.

Таким образом, всё встаёт на свои места – Сократ говорит вполне буквально то, что думает, хоть и не совсем точен в выражении собственной мысли (уточнение мысли могло бы устранить заблуждение собеседника). Однако нет оснований думать, что только данная неточность препятствует адекватному пониманию слов Сократа. Подобная неточность есть лишь весьма обычная неточность нашей обыденной речи, которую легко, при необходи-

мости, скорректировать в последующем диалоге, что Платон и пытается сделать устами Сократа (не будем спрашивать насколько успешно, так как в данном контексте это не существенно).

Получается, что новый смысл понятия иронии, связываемый с именем Сократа, не имеет к намерениям последнего никакого отношения. Ирониками начинают зваться все те, с кем Сократ воевал, кого он желал вывести на чистую воду, понятие же иронии оказывается понятием любителей мутной воды, т.е. ирония является изобретением постсократовских софистов, отбросивших майевтику и оставивших голое, не имеющее никакой высшей цели опровержение собеседника (опровержение ради опровержения), сопровождаемое насмешкой. Ирониками прослыли те, с кем Сократ боролся, заведомый обман стал зваться иронией.

Итак, основное счастье всех последующих ироников заключается в том, что они никогда не встретятся с Сократом. Аналогично этому метафорами можно называть любые абсурдные или заведомо ложные употребления некоторого выражения, имеющие целью запутать собеседника, для которых *ad hoc* находится некоторая «ироническая» интерпретация. Счастье философствующего лжеца вполне аналогично счастью ироника. Дескать, «я – искушенный ироник – имел в виду нечто совсем другое (и очень даже мудрое), а ты, простофиля, ничего-то не понял в своём ограниченном буквализме!».

Дэвидсон, «не ведающий» метафоры

Необходимо проводить разграничение между двумя, как минимум, типами «буквальных» значений – между буквальным значением языкового знака и между буквальным значением указания (референции) с помощью данного языкового знака. Д. Дэвидсон полагает, что метафору следует толковать как выражение с буквальным значением во втором смысле. Представляется, что для этого требуется проводить разграничение между языковым значением и употреблением. Данное разграничение в теории метафоры может иметь различную интерпретацию.

В качестве несколько иной интерпретации указанного разграничения можно рассмотреть позицию Джона Серла [4]. Когда Серл различает языковое значение и значение говорящего, он полагает, что есть некоторое буквальное значение в рамках самого языка. Согласно примерам Дж. Серла, сказать, что «машина Сэма большая» вовсе не значит утверждать, что машина Сэма больше трактора. В самом языке, дескать, подразумевается, что значение выражения «большая машина» ограничено в языке некоторыми рамками. Однако это, по-видимому, не совсем так – и «машина» и «большое» могут вполне буквально трактоваться в языке многими способами. Сказать, что «машина Сэма большая» можно вполне буквально о самолёте Сэма (ведь самолёт есть машина), и это вполне может означать «быть больше трактора».

Здесь вспоминается дискуссия в отношении понятия знания между Дж. Э. Муром, с одной стороны, и Л. Витгенштейном с Н. Малкольмом – с другой [5]. Первый полагал, что понятие знания имеет какое-то общее и постоянное значение (аналогичное «буквальному» языковому значению), вторые же отстаивали точку зрения, что у понятия знания «буквального» значения не имеется, но прагматике оппонирует лишь некоторая классификация

языковых игр с весьма различными значениями понятия «знание». Если так, то позиция Серла в интерпретации понятия метафоры чем-то напоминает позицию Дж. Э. Мура в его интерпретации понятия знания, а позиция Д. Дэвидсона – позицию Н. Малкольма с Л. Витгенштейном.

Интересно, что у Серла можно найти не только замечательный прагматический анализ феномена вымысла [6], на который имеет смысл ориентироваться и при анализе метафоры (однако не реализованный самим Серлом в данной области исследований), но и нечто вроде «буквализма» Дэвидсона.

В качестве примера обратимся к компьютерной метафоре «Человек – это компьютер». Как известно, Серл ввел понятия «сильной» и «слабой» версий искусственного интеллекта (ИИ). Если нас интересует сходство (аналогия) между действиями компьютера и действиями человеческого разума, тогда получаем «слабую версию» концепции ИИ, если же мы видим тождество между ними, то имеем «сильную версию» ИИ.

В то же время Серл смело нарушает границы созданной им самим удвоенной семантики – говорит о некоем буквальном понимании человеческого мозга в качестве машины, только более сложной, чем компьютер: мы есть материальные существа, мы есть машины, мы есть автоматы (если допустима такая интерпретация Серла), но мы не есть цифровые машины (автоматы), не есть компьютеры. Почему, спрашивается? А если понимать компьютер как идеальную модель всякого интеллектуального автомата – надеюсь, отрицать, что человек есть автомат, никто не будет, подобно тому, как никто не станет отрицать, что человек есть животное (немного расширив учение А. Тьюринга, ограничившегося лишь цифровыми автоматами)? Кто нам запретит именно так толковать термин «компьютер»?

Тогда можно смело с чистой совестью, доброй волей и открытым сердцем констатировать – да, мы все компьютеры! И никакая это не аналогия, а вполне буквальное языковое значение. Предельно строгое значение, в свете нашего определения компьютера. Компьютерная метафора так же испаряется, как и все прочие метафоры, является столь же «отсутствующей», как и остальные.

Аналогично высказывание «человек – это животное» следует понимать вполне буквально, если термин «животное» соответствует его научному значению, а не диким представлениям некоторых граждан, готовых признать в данном высказывании лишь метафору (дескать, животные кусаются, не носят одежды, не катаются на машинах и т.д., аналогично этому компьютеры, по мнению обывателя, шумят, перегреваются и т.д.). Аналогично, как мы уже отметили, высказывание «паровоз – это машина» также вполне возможно понимать буквально, несмотря на то, что в языке некоторых обывателей «машина» тождественно «легковая машина». И т.д.

Однако если метафора всецело принадлежит сфере употребления, то как тогда понять идею Дэвидсона о том, что у метафоры нет пропозиционального значения? Ведь очевидно, что само понятие «пропозициональное значение» получаемо лишь при абстрагировании от тех или иных аспектов прагматики, то есть выхода за рамки чистого употребления? Возможно, что тогда метафора есть лишь необычное, т.е. не имеющее языкового закрепления (аналогично случаю имён собственных) референциальное выражение (вспомним его об-

ращение к понятию косвенного значения Г. Фреге)? Сама же по себе «необычность» референции не есть ни свидетельство неудачи референции, ни ложности пропозиции, её включающей. Однако граница между ложью и необычностью слишком тонка (и легко может выступать предметом смешений, как только софист представит свой намеренный обман в качестве непонятой, дескать, его собеседником иронии). Не всякое референциальное выражение само по себе несет некоторое пропозициональное значение, но всякое пропозициональное значение некоторые референциальные значения предполагает.

Итак, с точки зрения чистой семантики метафоры не существует. Семантическая модель может включать как достаточно определённое и узкое значение, так и предельно широкое для одного и того же языкового выражения. Лишь полагая какое-то значение определённым через его границы, можно утверждать, что выход данной языковой формы за указанные границы есть метафора (метафорическое употребление, значение и т.д.). Однако любое полагание значения в тех или иных словарных определениях может быть всегда оспорено, отброшено или заменено (вспомним борьбу У. Куайна против мифа словарно закреплённых языковых значений). Это значит, что на уровне семантики нам никогда не получить определение метафоры. В этом мне видится один из основных моментов позиции Д. Дэвидсона (после его анализа прагматики сравнения), несмотря на то, что сам Дэвидсон справедливо подчеркивает, что имел в виду нечто большее, чем простое отсутствие метафорического значения [1. С. 359].

Стремление Дэвидсона перенести метафору в область прагматики, в область земли малоизученной и загадочной, однако признаваемой в её существовании, большинством исследователей видится единственно верной. Как мы уже отметили выше, Дж. Серл великолепно реализует перевод исследования в прагматическую плоскость применительно к художественному вымыслу [6], оставаясь в области изучения метафоры на традиционной, признающей чисто языковую двойственность значения позиции [4].

Итак, метафора, по Дэвидсону, всё же существует, ибо каким-то образом – как мы полагаем, за счет языковой прагматики – делает наши пропозиции ложными, позволяя в то же время увидеть объекты в новом свете. Можно также принять, что попытка провести различие между метафорой и сравнением бесперспективна. Если метафора – феномен прагматики, то метафора и есть сравнение (хотя, возможно, и не только сравнение).

И все-таки она существует!

Было бы ошибочно считать, что язык целиком метафоричен и что все наши истины есть ложь (Ф. Ницше). Метафора, если существование таковой мы признаем или даже глобализуем, подобно Ницше, ни в чём не повинна, она не несёт никакой ответственности за ложность наших пропозиций. Широкое толкование Ницше относится к софистическому пониманию иносказательного значения (аналогично софистической версии иронии). Если пойти чуть дальше, то можно даже отстаивать тезис, что метафора не делает наши пропозиции ни необходимо ложными (Д. Дэвидсон), ни необходимо, но в особом смысле, истинными (Н. Гудмен).

Равным образом, ошибочно считать, что метафоры нет. Последнее утверждение, если вспомнить критерии существования Р. Карнапа, означало бы, что включающий понятие метафоры теоретический язык (языковая конвенция) хуже или менее целесообразен, чем язык, подобного понятия не содержащий. Я уверен, что понятие метафоры может успешно работать в лингвистике, эстетике и других дисциплинах. Об этом свидетельствуют работы многих теоретиков.

Каково же тогда будет решение в отношении её существования? Как последнее становится возможным? Метафора возникает тогда, когда имеется два различных употребления языка (две различные конвенции, концептуальные схемы). В самом по себе языке метафоры нет, но некоторые необычные употребления и интерпретации понятий её порождают. В процессе закрепления данных понятий (интерпретаций языковых терминов) метафора становится «стёршейся» метафорой (ибо в языке самом по себе метафоры нет).

Метафорическое выражение не нарушает границ семантических (синтаксических) категорий языка, никогда не бывает категориальной ошибкой. Речь должна идти о более тонком уровне – уровне языковой прагматики. Метафора есть там, где есть необычное, не устоявшееся языковое употребление, которое может быть связано как с рождением новых понятий (эвристическая функция метафоры), так и с похоронами того, что уже имелось (разрушением имеющихся понятий в рамках софистической аргументации).

В то же время понятия «обычного», «буквального» и «метафорического» оказываются понятиями относительными. То, что является метафорой в рамках некоторого языкового употребления, вполне может быть буквальным и не метафорическим в рамках иного употребления, в рамках иной языковой игры (не терпящей, конечно, никакого субъективного произвола). Однако из относительности метафорического значения не следует относительность буквального значения, т.е. из того, что всякое метафорическое значение может в некотором контексте оказаться буквальным, ещё не следует, что всякое буквальное в некотором контексте может оказаться метафорическим (взять хотя бы математические высказывания). Данная относительность метафорического вселяет оптимизм в отношении строгости нашего собственного рассмотрения метафоры и надежду в отношении необязательности для него автореферентной самопротиворечивости.

Возможно, что имеет смысл выделить новое употребление (новый язык), формирующее метафору в качестве метаязыка по отношению к существующему буквальному значению. В этом случае метаязыковая функция метафоры хорошо объясняет изменение языка, возникновение новых понятий, приводящее к изменению языковых значений. Возможно, феномен «стершейся метафоры» может выступить лакмусовой бумажкой в области исследования данного взаимодействия. Метафора живёт, покуда существует особая форма употребления языка, каким-то образом контрастирующая с существующими семантическими нормами. Здесь вновь уместно напомнить об относительности. Метаязык не существует сам по себе, без языка описываемого (и изменяемого с его помощью), метаязык никогда не бывает самодостаточным.

Немного иная возможность связана с трактовкой метафоры в качестве коннотации к исходному языковому значению. Коннотация не обязательно

связана с преобразованием существующего языка. Равным образом не всякая метафора имеет креативный характер в сфере познания.

Обе формы могут быть моделируемы в качестве вторичных семиотик согласно схемам Ролана Барта, но данная задача выходит за рамки нашей статьи и требует уже самостоятельного исследования.

Литература

1. Дэвидсон Д. Что означают метафоры // Исследования истины и интерпретации. М., 2003. С. 336–361.
2. Гудмен Н. Метафора // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 194–200.
3. Вайнрих Х. Лингвистика лжи // Язык и моделирование социального взаимодействия. Благовещенск, 1998. С. 44–87.
4. Серл Дж. Метафора // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 307–341.
5. Малкольм Н. Мур и Витгенштейн о значении выражения «Я знаю» // Философия, логика, язык. М., 1987. С. 213–263.
6. Серл Дж. Логический статус художественного дискурса // Логос. М., 1999. №3. С. 34–47.